



Пока горит свет

Марина Рогольская

Марина Рогольская

Пока горит свет

<https://litres.ru/73997758>

SelfPub; 2026

Аннотация

В мире, где до девяти лет дети не видят снов, первый сон становится не чудом, а испытанием. Считается, что именно в этот момент душа окончательно связывается с телом — и ребёнок должен найти дорогу обратно к себе, к дому, к жизни.

Главному герою исполняется девять, и теперь он, как и все дети его возраста, ждёт своего Первого сна. Взрослые стараются говорить спокойно, но за их словами прячется страх: не каждый ребёнок возвращается после этой ночи прежним, а некоторые не просыпаются вовсе. Когда долгожданный сон всё же приходит, герой оказывается в пространстве, где реальность подчиняется странным законам, воспоминания могут стать ловушками, а дорога домой требует не только смелости, но и понимания самого себя.

Это история о взрослении, страхе и любви, о хрупкой связи между человеком и теми, кто ждёт его по ту сторону темноты. О том, как важно помнить свой дом — и тех, чей свет помогает не заблудиться.

Содержание

Глава первая. День, когда начинаются сны	4
Глава вторая. Мальчик с девяткой на рукаве	23
Глава третья. Благословение	44
Глава четвёртая. Лента	61
Г	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Пока горит свет

Глава первая. День, когда начинаются сны

До девяти лет ночь в их мире была пустой.

Она была чёрной, но не страшной — скорее, как выключенный телевизор. Ты знаешь, что внутри должны быть картинки и голоса, но пока там только тёмный экран и слабое отражение самого себя. Ты ложишься, моргаешь — и сразу утро. Ни картинок, ни голосов, ни странных ощущений падения или полёта, о которых взрослые иногда шептались на кухне, думая, что дети не слышат.

Лёше сегодня исполнилось девять.

Он проснулся ещё до будильника, хотя обычно мама будила его по полчаса. Сначала он лежал, уставившись в потолок, и прислушивался к себе, пытаясь понять, не чувствует ли чего-нибудь... необычного. Ночью всё прошло как всегда: он лёг, закрыл глаза — а потом разом оказался в утре, как будто кто-то перелистнул страницу.

«Ну и славно», — решил он сперва. Но от этой мысли внутри всё равно было немного пусто и щекотно, как перед контрольной, к которой вроде бы готовился, но всё равно не уверен.

Из кухни пахло кашей. Скорее всего овсяной. Мама не верила, что можно вырасти нормальным человеком без каши на завтрак.

— С днём рождения, сынок, — сказала она, когда он появился в дверях, взъерошенный и задумчивый. Обняла так крепко, что вся тревога внутри на секунду исчезла.

На подоконнике уже стояла коробка, перевязанная лентой с маленькими бумажными звёздочками. Лёша украдкой косился на неё, но мама делала вид, что не замечает.

— Девять лет, — добавила она вполголоса, будто сама себе. — Уже большой...

Слово «девять» в этом году звучало особенно тяжело. И в школе, и на улице, и по телевизору всё время говорили о девятилетних. О тех, кому «пора», кто «войдёт в дорогу», кто «скоро увидит свой Первый сон».

Первый сон. Они даже так его и писали — с большой буквы, как праздник. Хотя про праздники никто никогда не шепчется на кухне, когда думает, что дети ушли спать.

Лёша, хмурясь, ковырнул ложкой кашу.

— Ма, а у меня сегодня будет? — спросил он, не поднимая глаз.

— Каша? Уже есть, — автоматически ответила мама и тут же спохватилась. — Сон? Сегодня вряд ли. Он может прийти в любое время... в течение года. Ты же знаешь.

Знал. «С девяти до десяти» — так говорили все: учительница в школе, ведущий в утренней программе по телевидению.

ру, даже бледная девочка из школы, у которой младший брат «не проснулся». От этого «не проснулся» в коридорах школы делалось особенно тихо, как в библиотеке.

— А если — прямо сегодня? — не отставал он. — Вдруг он решил, что я уже достаточно... э... связался? — Лёша нахмурился: «связать свою душу с телом» звучало слишком по-взрослому, да и немного глупо.

Мама налила себе кофе из большого кофейника и только потом села напротив.

— Лёшенька, — она посмотрела на него внимательно, как будто примеряла взглядом, насколько он действительно вырос. — Главное — помнить, что ты дома. И что ты домой хочешь. Сегодня мы включим для тебя огоньки.

— А если я забуду, как наша дверь выглядит? — вырвалось у него.

Мама вдруг улыбнулась, но в уголках её глаз тонко дрогнули маленькие морщинки — как трещинки на чашке.

— Для этого мы и развешиваем огни, — сказала она. — Чтобы ты не забыл.

Огни в их городе были всюду.

По вечерам дома на улице превращались в длинную цепочку разноцветных островков. На окнах висели гирлянды, фонарики, бумажные звёзды и даже старые новогодние лампы, которые в другое время года лежали бы в шкафу. Где-то мигал зелёный свет, где-то — мягкий жёлтый, у соседей

напротив красными кругами горели фонари в виде маленьких лун.

Все знали, что это значит: здесь живёт девятилетний.

Ночью, когда город темнел, эти окна казались глазами, которые не спят. Молчаливые, настойчивые. Они будто говорили: «Вот мы. Вот наш дом. Найди нас. Найди себя».

— А правда, что это почти не помогает? — спросил Лёша однажды у дедушки, когда они возвращались из магазина и шли вдоль домов, на стенах которых плясали разноцветные пятна света.

Слово «почти» он подцепил случайно — в какой-то передаче так сказал один серьёзный дяденька в очках: мол, статистически фонари «едва ли влияют на успешность возвращения».

Дедушка, который до этого молчал и только втягивал в нос холодный воздух, как будто проверял его на вкус, немного помедлил.

— Помогает не столько свет, — ответил он наконец и затянулся густым дымом сигареты, — сколько то, что тебя дома ждут. Но фонарики... фонарики хоть что-то дают сделать руками. Становится не так страшно.

Лёша тогда кивнул, хотя ответ его не особенно успокоил. Ему казалось, что если уж развешивать огни, то они должны работать как стрелки на дороге: «иди сюда, сюда». А не просто «хоть что-то сделать».

С тех пор он ещё внимательнее смотрел на окна. По вече-

рам город превращался в странную карту: где горит — там есть кто-то, кто может в любую ночь не вернуться. Где пусто и темно — там либо все уже прошли свою дорогу, либо детей нет совсем.

И ещё были дома с особыми окнами — на которые редко кто подолгу смотрел.

На таких домах часто оставались тени.

Про тех, кто не просыпался после Первого сна, взрослые говорили мало и неохотно. В книжках про это было всего две строчки, в школьном учебнике — один небольшой абзац. Остальное дети додумывали сами — и иногда эти придумки оказывались страшнее любой правды.

Говорили, что те, кто заблудился в своём сне, остаются там навсегда.

Исчезают не сразу: сон отнимает их по частям.

Сначала они теряют голос. Они ещё кричат, зовут маму, но мир не слышит ни звука. Потому и ходит поверье, что, если ночью распахнуть окно, из темноты можно уловить далёкий, разорванный ветром шёпот. Взрослым кажется, будто скрипнула ветка, вздохнула труба или зашуршала крыша, а дети, если им не лгут, знают: это тот, кто не успел найти дорогу домой.

Потом исчезает лицо. Во сне они уже не узнают себя в отражении: там лишь бледный овал, будто маска, которую так и не дорисовали.

Потом уходят краски. Мир вокруг остаётся цветным, а они бледнеют и становятся прозрачными — сначала как туман над утренним полем, потом как след ладони на запотевшем стекле.

В конце от них остаётся одна лишь тень.

Лёша всегда был уверен, что такие тени он видел в реальном мире.

Первый раз — когда ему было шесть, и он ещё не знал, на что смотрит. Они с мамой шли мимо старого кирпичного дома, у которого никогда не зажигались огни для девятилетних — детей там не было. Стена была серая, облупившаяся, но посреди неё темнело пятно — вытянутое, почти человеческое. Никаких людей рядом не было, свет падал с другой стороны, а тень всё равно тянулась вверх, руками — к раме окна, когда-то окрашенной в голубое.

Казалось, она пытается в это окно войти.

— Мам, смотри, — дёрнул он её за рукав. — Там кто-то...

Мама на секунду подняла глаза, быстро отвернулась и крепче сжала его ладонь.

— Не смотри туда, сынок, — строго сказала она. — Это просто грязь на стене.

Но по тому, как она потом всю дорогу молчала и не отпускала его руку даже на лестнице, мальчик понял: это была не грязь.

Днём в его комнате повесили первые огни.

Папа достал из антресоли большую пыльную коробку с гирляндой. Пока он распутывал провода, Лёша думал о том, что это почти как Новый год, только без ёлки и подарков под ней. И без ощущения, что впереди — только веселье.

В этот раз вместе с огнями в дом как будто вползало ещё что-то — холодное, невидимое и очень терпеливое: «теперь я буду ждать, сколько нужно, я никуда не тороплюсь».

— Будешь помогать? — спросил папа, вытаскивая из коробки пучок проводов, похожий на застрявшее в сетке гнездо.

— А они правда... светятся во сне? — спросил в ответ Лёша.

Папа перестал бороться с узлом провода и посмотрел на него пристально.

— Никто не помнит свой Первый сон до конца, — сказал он. — Это как длинная дорога в тумане. Помнишь развилки — и то хорошо. Но кое-кто говорит, что огни видно. Или хотя бы чувствуется, что там, где они, — твой дом.

Он говорил спокойно, почти буднично, но Лёша заметил, как у него подёрнулась кожа на пальцах, когда он вкручивал лампочки в патроны. Будто там, где стекло касалось кожи, было чуть холоднее, чем должно.

— А у тебя как было? — не удержался он.

Папа усмехнулся.

— У меня? Я помню только, что шёл и шёл, а потом вдруг услышал, как мама кашляет на кухне. И пошёл на звук. А ог-

ни... может, и были. Я тогда их не замечал. Я вообще многое не замечал в девять лет.

Папа повесил гирлянду по карнизу окна. Маленькие шарики пока были серыми и смешными, как высохшие ягоды.

— Главное, — добавил он негромко, — не останавливаться. Какая бы там дорога ни была.

Лёша кивнул, хотя не был уверен, что дорога — это вообще то, по чему хочется идти. Но выбора у него, похоже, не было: дорога всё равно однажды придёт к нему сама.

Девять лет отмечали не так, как все остальные дни рождения.

Пять, семь, восемь — это были обычные праздники: с шариками, друзьями, шумными играми в парке или в кафе, с пиццей в картонных коробках и одноразовыми колпачками на резинке, которые всё равно никто долго не носил. Можно было загадывать себе поход в кино, батуты, аттракционы — что угодно.

Девять — нет.

Девять лет почти всегда встречали дома, в кругу семьи. Без шумных компаний, без соседских детей, максимум — один-два самых близких друга, и то не у всех. Так повелось не потому, что взрослые вдруг стали скучными, а потому что именно в девять начиналось то самое «с девяти до десяти», про которое говорили по телевизору и шептались у подъездов.

В учебниках писали об этом сухо: «возраст перехода». На уроках называли «важным этапом развития». По телевизору любили повторять: «организм ребёнка вступает во взрослую фазу». Но за всеми этими словами пряталась одна простая мысль, которую обычно говорили шёпотом: в девять лет человек начинает по-настоящему взрослеть — не только телом, но и чем-то ещё, что взрослые неохотно называли словом «душа».

До девяти лет тело росло как будто само: ело, спало, бегало, падало и заживало. Ночью не было ничего — только темнота, как после щелчка выключателя. Но в девять лет всё менялось. Врачи говорили о росте и гормонах, бабушки — что «заговорила кровь», а старые книги утверждали: в этом возрасте душа впервые уходит от тела во сне и должна научиться возвращаться обратно.

Первый сон в их мире считался чем-то вроде узла: той самой первой, крепкой завязки между телом и душой. Если завязать его как следует — дальше сны будут приходить и уходить, как положено, а человек будет просыпаться каждый раз, как будто возвращается по проложенной когда-то дороге. Взрослым не нужно было искать путь: свою дорогу они уже нашли в девять, в собственном Первом сне, даже если сейчас этого не помнили.

Детям же предстояло сделать это впервые. И потому девятилетие было не просто «ещё одним годом», а чем-то вроде невидимого порога, который каждый переходил сам.

Кто-то считал, что отмечать этот день дома — значит помочь ребёнку лучше «запомнить дом»: стены, запахи, голоса. Кто-то ссылался на старые традиции: «в самый важный год семья должна быть рядом». Кто-то честно признавался, что просто страшно отпускать девятилетку далеко, когда в любой из ближайших ночей к нему может прийти Первый сон.

На витринах детских кафе даже висели маленькие таблички: «Пакеты праздников: 5, 6, 7, 8, 10, 11...» — и пустота на месте девятки. Если очень попросить, праздник на девять всё-таки устраивали, но родители переглядывались как-то неловко: «А вдруг... прямо в эту ночь?»

Мама Лёши тоже сказала заранее:

— В этом году — только мы. Бабушка, дедушка, мы с папой. Никаких шумных компаний. Девятый — домашний.

На самом деле Лёша был не против, но ему хотелось позвать хотя бы Серёгу. Было как-то неловко, что такой важный, страшный, вроде бы взрослый возраст он встречает почти по-детски, только с роднёй. Но спорить не стал. Взрослые, когда дело касалось Первого сна, становились как каменные.

К вечеру он почти смирился с тем, что девять — это не про весёлый шум, а про огни и ожидание.

Вечером в их квартире было непривычно светло.

Не от ламп на потолке и не от телевизора, который мама

всегда включала фоном, а от множества маленьких огоньков: на окне в комнате Лёши, в коридоре и даже на кухне. Казалось, что квартира превратилась в один большой фонарик, подвешенный где-то над тёмным городом.

Бабушка, приехавшая поздравить внука, достала из своей сумки два маленьких бумажных фонарика в виде рыжих лисиц.

— Эти для коридора, — строго сказала она, не терпя возражений. — Чтобы никакая нечисть не запутала дорогу.

— Ма, — вздохнула мама, — какая ещё нечисть, ты как будто из сказки вышла.

— А что, — обиделась бабушка. — Мир стал лучше, что ли? Люди-то те же. Только раньше про такое вслух говорить боялись.

Она ловко подвесила лисиц на гвоздик над дверью. Когда их зажгли, фонарики слегка закачались, отбрасывая по стенам рыжие пятна, похожие на бегущие хвосты.

— Угу, — проворчал папа. — Теперь у нас точно нечисть перепугается.

Лёша тем временем сидел за столом и разглядывал свой торт. На нём было девять свечей — обычных, восковых. Эти огни были совсем другие, чем те, что висели на окне. Тёплые, живые, пахнущие мёдом и воском.

Рядом на стуле уже стояла та самая коробочка с подоконника — перевязанная лентой с бумажными звёздочками. Когда её, наконец, разрешили открыть, внутри оказался огром-

ный набор конструктора — космическая станция с ракетой, маленькими фигурками астронавтов и серыми, как лунный грунт, деталями. На обложке ракета взлетала над крошечной планетой, а в иллюминаторах светились жёлтые окна.

— Ого... — только и смог выдохнуть Лёша.

— Мужской набор, — одобрительно хмыкнул дедушка.

— Никаких тебе пони.

Бабушка подарила толстую книгу в твёрдом переплёте — про мальчика, который попал в странный город, где все улицы менялись местами. Обложка была тёмная, немного мрачная, с жёлтыми огнями в окнах.

— Это чтоб ты помнил, что не только в нашем мире дороги бывают, — сказала бабушка, хитро на него посмотрев.

Дедушка протянул конверт.

— А это, — сказал он, — на твои собственные глупости. — В конверте шуршали аккуратно сложенные деньги. — Сам решишь, на что потратить. Когда захочешь.

Лёше немного нравилось, что дед так с ним разговаривает — как со взрослым.

— Загадывай, — напомнила мама, когда все собрались вокруг стола.

Загадывать желание в этом году оказалось особенно трудно. В прошлый день рождения он просил смартфон — «как у всех», с нормальной камерой, чтобы можно было играть и переписываться с друзьями. До этого, на позапрошлый, мечтал о щенке — маленьком, лохматом, который бы спал у него

в ногах и встречал из школы.

Смартфон ему тогда купили, щенка — нет. Мама сказала, что «сначала пусть вырастет сам». Теперь же казалось странным просить что-то такое мелкое. Как будто весь мир сузился до одной-единственной вещи: «проснуться».

Но вслух такое желание загадывать было почему-то стыдно. И глупо — это ведь не Дед Мороз, а огоньки.

«Пусть всё будет как у всех», — подумал он в итоге. Это казалось не слишком смелым, но и не совсем трусливым. «Пусть я тоже... приду домой».

Он глубоко вдохнул и задул свечи. Дым тонкими дорожками потянулся вверх, к потолку, как будто сам искал дорогу, только уже не назад, а дальше.

После торта семья как-то естественно разделилась.

Мама с бабушкой ушли на кухню заваривать чай — и разговаривать теми тихими голосами, которыми взрослые разговаривают, когда думают, что дети заняты и ничего не слышат.

Дедушка устроился в любимом кресле у окна и полуприкрыл глаза поглядывая в телевизор. Папа остался с Лёшей. Вместе они расправили на коленях огромный лист с инструкцией к конструктору.

— Смотри, — папа развернул первую страницу. — Вот это у нас что?

— Основание ракеты, — уверенно сказал Лёша. — Тут,

наверное, топливо.

— А это? — папа ткнул пальцем в странную серую деталь с антеннами.

— Это... радар... или антенна связи... — Он прищурился. — Ну, чтоб домой дозваниваться, если заблудился.

Папа хмыкнул.

— Главное — не теряться, — сказал он. — Но на всякий случай антенна не помешает.

Они некоторое время разглядывали крошечные картинки: как из кучек одинаковых с виду деталей вырастает что-то большое и законченное. Космический корабль, который точно знает, куда летит, потому что у него есть схема. В отличие от Первого сна, для которого никакой подробной инструкции не выдавали.

Из кухни доносился негромкий звон чашек и шёпот.

— Всю ночь дежурить будешь? — узнал Лёша бабушкин голос.

— А что тут поделаешь, — вздохнула мама. — Всё равно не засну сегодня.

— Всё равно ведь... — начал дедушкин голос и осёкся. Значит, он тоже слушал.

— Всё равно он там один, — закончила за него бабушка. — Но мы хотя бы рядом будем.

Слова «там один» неприятно щёлкнули в голове, как ложка о дно стакана. Лёша представил: он шагает по какой-нибудь непонятной дороге — а где-то тут же, буквально через

стенку, в соседней комнате, сидят мама, папа, бабушка, дед, смотрят в темноту, где он идёт, но не видят.

Глупое, обидное ощущение, как когда застрянешь в подъезде без ключа, а наверху светится родное окно.

Он опустил взгляд на инструкцию. На одном из рисунков маленький пластмассовый человечек стоял у раскрытого люка корабля, и за ним была чёрная, звёздная пустота.

«Вот бы и у сна была такая же схема, — подумал он. — Страница первая: выход из кровати. Страница вторая: поворот направо. Страница третья: дом».

— Эй, ты где? — папа легонько щёлкнул его по лбу. — Ты уже мысленно в космосе?

— Почти, — буркнул Лёша.

Он перевёл взгляд на собственное окно. Гирлянда в гостиной уже была включена: маленькие лампочки вспыхивали одна за другой, перебегали волной, складывались в причудливые узоры. Иногда на стекле появлялось его отражение — и тут же растворялось под цветными бликами.

«Если я забуду, как выглядит мой дом... — подумал он, — может, я хотя бы узнаю это окно?»

В темноте за стеклом город потихоньку зажигался. На соседнем доме вспыхнули три круглых фонаря — наверняка у них там тройня. Чуть дальше по стеклу полоснул тёплый жёлтый свет — должно быть, где-то зажглась старая вывеска.

Над домом, где, по словам бабушки, «давно уже никого не осталось из детей», по-прежнему висела лишь одна тусклая

уличная лампа.

И всё-таки на её стене, если приглядеться, можно было различить странные, чуть более тёмные пятна. Они никуда не двигались, но Лёше от них становилось не по себе.

Он отвернулся.

Перед сном мама зашла к нему в комнату. Она почему-то два раза поправила одеяло, хотя оно и так лежало ровно. Руки у неё были холодные, пахли мылом и чем-то травяным.

— Не бойся, — сказала она.

— Я и не боюсь, — соврал мальчик автоматически. Потом подумал и добавил честно: — Ну, чуть-чуть.

— Это нормально, — мама села на край кровати. — Все боятся.

Он хотел спросить: «А ты боялась?» — но передумал. Про взрослых почему-то всегда казалось, что у них всё происходит по-другому, даже Первый сон. Наверное, они с самого начала знали, что найдут дорогу.

— Если... если вдруг я не проснусь... — начал он и тут же пожалел.

Мамино лицо стало жёстким, как будто его прорисовали заново, без прежней мягкости.

— Проснёшься, — сказала она так твёрдо, что и возражать не захотелось. — У нас в семье все просыпались. И ты проснёшься.

Она наклонилась, поцеловала его в макушку, как делала

это много раз, когда он ещё был совсем маленьким. Тогда после этого по голове всегда как будто растекалось тёплое, сонное чувство, от которого не хотелось ни о чём думать. Сейчас по голове растеклось то же ощущение, но где-то внутри, очень глубоко, всё равно оставался тонкий, холодный осколок: «а вдруг».

— Мы будем в соседней комнате, — добавила мама уже у двери. — Если захочешь воды... ну, мало ли. — Она неуклюже усмехнулась. — Всё будет хорошо, Лёш. Просто... постарайся вернуться.

Дверь мягко закрылась.

В комнате стало тихо. Только гирлянда на окне мерцала, отбрасывая на стены бледные цветные пятна. Из коридора просачивался рыжий свет лисьих фонариков, делая проём двери похожим на вход в какой-то другой, тёплый, бумажный лес.

Лёша лёг и уставился в потолок. Тот был как всегда — белый, с малозаметной трещинкой над шкафом. Ничего волшебного. Никаких предчувствий. Никаких дверей в иные миры.

«Может, сон придёт через месяц, — подумал он, — или через полгода. И я сейчас зря...»

Но мысли всё равно возвращались к одному и тому же. Как выглядит дорога? Она будет как улица, по которой он каждый день ходит в школу? Или как коридор в больнице, где все двери одинаковые? Вдруг она окажется лестницей

вниз — бесконечной, крутой? В учебнике писали, что у каждого Первого сна своя форма, и никакие карты не помогают.

Он попытался представить: вот он во сне. Я, значит, уже там. Можно ли там чувствовать страх по-настоящему, если ты вроде как спишь? Или страх тоже будет какой-то другой, как будто из ваты?

Засыпать при свете оказалось неожиданно трудно.

Раньше ночь была простой: щёлк — выключатель, и всё. Темнота, как закрытые глаза. Сейчас же даже с закрытыми веками он видел, как сквозь них просачиваются тусклые оранжевые и синие пятна — от гирлянды, от лисьих фонариков. Свет прожигал темноту тонкими иголочками.

Он перевернулся на бок, попытался спрятать лицо в подушку. Под одеялом стало теплее, но света меньше не стало — он всё равно чувствовался, как шорох, как тихий шёпот за дверью.

«Как в поезде, — подумал он, — когда спишь на полке, а в коридоре не выключают лампы». Там тоже было не по-настоящему темно и от этого почему-то чуть тревожнее.

Сосчитав до ста, он обнаружил, что по-прежнему смотрит в потолок. Гирлянда на окне тихо щёлкнула, меняя режим огней. Теперь лампочки загорались попарно, как шаги невидимых маленьких существ.

«Главное — не останавливаться, — вспомнил он папины слова. — И помнить, где дом».

Где дом, он, кажется, помнил. Дом — это мамин голос на

кухне, когда она разговаривает по телефону и смеётся так, что чуть не роняет трубку. Дом — это папины тяжёлые шаги в коридоре. Дом — это бабушкино шуршание пакетами и запах её таблеток. Дом — это то, как сейчас за тонкой стеной кто-то чокается чашками, и как телевизор бормочет про погоду на завтра. Дом — это дедушкино покашливание из комнаты и его привычное: «Ладно, бывайте здоровы», когда он собирается уходить.

«Ну как тут заблудиться?» — попытался пошутить он сам с собой. Шутка вышла не очень.

Глаза начали слипаться. Цветные пятна на стене растянулись, поплыли, перемешались с белыми полосами потолка. В какой-то момент Лёше показалось, что рыжие лисьи хвосты из коридора проникли в комнату и тихо водят по полу мягкими кисточками света.

Он моргнул. Всё стало как прежде.

«Может, и правда не сегодня», — мелькнуло напоследок.

Сон, однако, уже стоял совсем близко — но не по ту сторону век, он как гость, который терпеливо ждёт, пока ему наконец откроют. И от того, что он был таким вежливым и молчаливым, становилось только страшнее.

Глава вторая. Мальчик с девяткой на рукаве

Утро оказалось самым обычным. И именно это было страннее всего.

Никаких картинок, никаких дорог, никаких шёпотов из темноты. Лёша, как всегда, просто моргнул — и вместо ночи увидел мутноватый серый свет за окном и своё одеяло, съехавшее на бок.

Ранняя весна за стеклом была бесцветной: небо — как разбавленное молоко, на подоконнике — полоска воды, а во дворе виднелись последние грязные островки снега.

Он пару секунд лежал, не двигаясь, почти боясь пошевелиться, словно любое движение могло спугнуть то, что, как ему казалось, должно было запомниться.

Потом всё-таки отбросил одеяло и сел. Пижамная футболка повисла на нём мешком, ключицы торчали, как тонкие палочки. Свесив ноги с кровати и поморщившись от холодного пола, он поднялся и подошёл к зеркалу на дверце шкафа.

Из мутного утреннего стекла на него смотрел мальчик со светлыми, чуть взъерошенными волосами — почти такого же оттенка, как у мамы, только короче и упрямее. Светлые брови, почти невидимые на бледной коже, такие же бледные

ресницы, из-за чего серые, папины глаза казались ещё глубже и внимательнее. На переносице и по скулам разбросались несколько веснушек, будто кто-то обронил туда крошки от корочки хлеба. Овал лица — вытянутый, по-отцовски упрямый, а губы — мягкие, чёткой линией, мамины.

Лёша наклонился ближе, разглядывая своё отражение. Очень хотелось увидеть на лице хоть какой-нибудь след ночи — тень, отметину, что-нибудь, что доказало бы: там, по другую сторону сна, действительно что-то было. Но в зеркале были только он и серое утро за его спиной.

Память упрямо молчала. Он пытался нащупать внутри хоть какое-то воспоминание: запах, цвет, обрывок фразы, тень от чьей-то руки...

Ничего. Пустота. Чёрная, как раньше. Та самая, в которую он проваливался каждую ночь все девять лет до этого — без снов, без картинок, просто темнота, как закрытые глаза.

Сначала его накрыло облегчение — тяжёлое, как старое одеяло, которым придавило к кровати. «Пронесло. Сегодня ещё нет». Где-то под сердцем разжалось что-то холодное.

А потом, очень быстро, под этим облегчением завозилось другое чувство — странное, липкое, наползающее. Как будто кого-то другого позвали на сцену, а твоё имя так и не прозвучало. Как будто он стоял на платформе и смотрел, как поезд уже уходит, а ему кричали, что это его поезд.

«Говорят, главное — вернуться до рассвета», — вспомнились ему шёпотом брошенные слова во дворе.

Если Первый сон затянется дольше, чем ночь, если солнце поднимется, а ты всё ещё там — тогда всё. Тогда уже не вернёшься. Так говорили старшие ребята, закатывая глаза. В интернете умные дядьки говорили, что это «неподтверждённое поверье», даже слегка посмеивались. Но дети верили в это куда крепче, чем в любые книжки на эту тему.

Из кухни пахло жареными гренками и подгоревшим маслом. Мама в дни, когда ей было тревожно, всегда жарила гренки — возможно, потому что их нужно было постоянно переворачивать, не спуская глаз, не давать им стореть и не давать себе думать.

За стеной шуршали её тапки, телевизор глухо бормотал, фоном — утренние новости сдавленным голосом пробирались сквозь запах яиц и хлеба. Мальчик вдруг понял, что всё это время она не спала. Или спала урывками, как на посту.

Он натянул штаны, нащупал под кроватью один носок, второй вытащил из щели изголовья кровати и, зябко ёжась, поплёлся на кухню.

Мама стояла у плиты в старом махровом халате, мятая и серая, как само утро. Светлые волосы растрёпаны, под глазами — тёмные круги. Она словно тоже только что проснулась — не от сна, а от долгого дежурства.

Увидев, как он входит, она буквально вздрогнула. На секунду её рука дёрнулась так сильно, что почти выронила лопатку. А потом плечи опали, губы дрогнули, и она торопливо отвернулась к плите, будто пряталась от него.

— Доброе... — начал Лёша, но не успел.

Мама резко обернулась, шагнула к нему и прижала к груди, пахнувшей жареным маслом и каким-то лекарством. Обняла крепко-крепко, так, что у него хрустнули рёбра.

— Ты вышел? — выдохнула она ему в макушку, и он впервые услышал, как дрожит её голос.

Он неловко похлопал её по спине.

— Я просто проснулся, мам, — растерянно сказал он.

Мама отстранилась, провела ладонью по его волосам, как будто убеждаясь, что он настоящий, не прозрачный. В глазах у неё блеснуло что-то мокрое, но она быстро моргнула и почти сердито вернулась к сковородке.

Телевизор на подоконнике показывал серьёзного дядьку в очках. Тот говорил очень умным голосом:

— ...в ряде стран частные сомнологические компании...

Лёша ухватил обрывок фразы и невольно представил: взрослые спят в каких-то стеклянных капсулах, а вокруг них ходят люди в белых халатах и заглядывают под веки, как в замочные скважины. Или сидят рядом с проводами и кнопками, готовые в любой момент дёрнуть кого-нибудь обратно, пока за окном не посветлело.

— Опять про этих торгашей, — поморщилась мама и щёлкнула пультом, выключая звук. — Как будто мало нам своих страхов, так ещё и туда лезут.

— А что это? — спросил Лёша, садясь за стол.

— Ничего, — быстро ответила она, а потом спохватилась:

— Взрослые глупости. Вырастешь — поймёшь. У нас всё это запрещено. — И она скривилась, как от кислого.

Она вечно так говорила: «Вырастешь — поймёшь».

«А если не пойму?» — грустно подумал Лёша.

— А детям... — он сглотнул, — детям как-то... помогают?

Он откусил гренку. Горячий хлеб, яйцо и запах обжаренной корочки на секунду вернули миру обычность: стул скрипит, окно запотело, на подоконнике лежат остывшие огрызки вчерашних свечей.

Мама сделала вид, что не услышала. Поставила перед ним кружку чая и притворилась, что занята мытьём раковины.

— А папа где? — спросил он, жуя.

— Уже ушёл на работу, — коротко ответила она.

Лёша представил папу, как всегда, в синей куртке, с потёртым ремнём, который приходилось затягивать на одну и ту же дырку.

Мама вдруг замаялась, как будто искала слова, и всё-таки спросила:

— Ты... не опоздаешь сегодня в школу?

— Не знаю, — честно сказал Лёша.

Разговор расплзался, как мокрая бумага.

— Как спалось? — не выдержала мама.

— Нормально, — пожал он плечами. — Ничего не снилось.

Тарелка чуть дрогнула в её руках, но на стол она всё-таки

встала ровно.

— Ну и хорошо, — сказала она слишком бодрым голосом.
— Значит, ещё не пришло твоё время.

Она специально отвела взгляд, сосредоточившись на чайнике, но пальцы, сжимающие ручку, побелели от напряжения.

Время. Это слово в последнее время преследовало его везде. «Время до сна». «Период с девяти до десяти». «Время, за которое нужно успеть». Взрослые говорили о времени так, будто оно было каким-то зверем, который пока ещё неторопливо крадётся в стороне, но однажды обязательно прыгнет на тебя со спины.

Во дворе было сыро и прохладно, пахло влажной землёй и старым снегом. За ночь, видимо, опять прошёл дождь. Асфальт ещё поблёскивал в лужах, а вдоль поребриков чёрными глыбами доживали последние сугробы, прожжённые до дна песком и солью.

Фонари уже погасли, но небо всё ещё оставалось предрасветно тусклым, и от этого вода в лужах казалась свинцовой.

На некоторых окнах ещё тлели маленькие лампочки — неяркие, сонные огоньки, забытые с ночи.

«Наверное, там кто-то ещё спит», — подумал мальчик. Девятилетний, нужный миру. Может быть, сейчас ему снится та самая дорога, о которой все говорят так, словно сами по ней ходили.

Он поправил рукав куртки. На синей ткани поблёскивал свежий значок — круглая нашивка с цифрой 9, которую мама вчера пришила почти торжественно, ниткой, подобранной в тон. Вчера вечером он крутил рукав перед зеркалом, и цифра то и дело отражалась в стекле, как чужой глаз. Теперь этот глаз будто следил за каждым шагом.

Перед подъездом соседнего дома висела чёрная лента, привязанная к ручке двери. Её тусклый бархатный хвост казался мокрым, хотя на него не падало ни одной капли. Лента висела низко, почти касаясь грязного снега, и казалось, что сама темнота двора прячется в её складках.

Такое Лёша раньше в основном видел по телевизору. Там говорили, что некоторые семьи так отмечают тех, кто не вернулся. Официально такие знаки нигде не одобряли, но и не запрещали. «Людям нужно как-то справляться с утратой», — говорил один умный дядечка в очках, и ведущая кивала, делая сочувственное лицо.

Лёша украдкой посмотрел на чёрную полоску. На миг ему показалось, что конец ленты едва заметно дрогнул — хотя ветра почти не было. Как будто кто-то невидимый провёл по ней пальцами изнутри. Он поспешно отвёл взгляд.

Два года назад такая же лента висела на двери в их подъезде. Тогда все в доме шептались про старшего брата Дашки из параллели, который «не проснулся».

Он тогда запомнил его имя — Яша, — но память упрямо подсовывала просто «брат Дашки», будто так было не так

больно.

Он помнил, как в ту весну их двор три ночи подряд стоял залитый жёлтым светом: в окне на четвёртом этаже всё горело. Мать Яши не впускала никого в комнату, кричала его имя в раскрытое окно, включила громко музыку и все лампочки — от люстры до фонарика на кухне.

Возвращение Яши было уже невозможно: все знали, что никто не возвращается на следующую ночь, — но она не могла в это поверить. В квартиру смогли войти только на третий день, когда мать, охрипшая, лежала без сознания на полу, обессиленная от крика и трёх бессонных ночей.

Мальчика потом тихо похоронили. Мать отправили в лечебницу. А Даша уехала к бабушке с дедушкой в другой город. Больше Лёша её не видел.

Тогда, в свои семь, он мотал головой: «Глупости. Такого не бывает». Взрослые просто жили дальше, как будто ничего не изменилось. Или ему так казалось.

Сейчас — нет. Сейчас он вдруг видел, как много вокруг стало этих маленьких, тихих знаков: чёрные ленты, не выключенный свет, который оставляют за занавесками. Может, он раньше просто не замечал.

Он ускорил шаг.

На улице уже толпились школьники: кто шёл пешком, закинув рюкзак за спину, кто тащил его на одном ремне по земле, кто бежал, засовывая рубашку в штаны на ходу. Дышали паром. Шапки наполовину слетали с голов, варежки

торчали из карманов.

Многие были младше Лёши и с любопытством посматривали на его голубую девятилетнюю нашивку. Взрослые иногда кивали, увидев такую цифру. Сверстники — разглядывали, как будто это был не кусочек ткани, а пропуск в другое место.

— Эй, Лёха, привет! — окликнул его кто-то сзади.

Это был его лучший друг и одноклассник — Серёга.

Серёга был чуть ниже Лёши, тёмные волосы у него торчали в разные стороны из-под вечно сдвинутой набок шапки, придавая немного лохматый, но симпатичный вид. На переносице виднелись парочка веснушек, а в улыбке была маленькая щербинка между передними зубами. Глаза у него почти всегда смеялись, даже когда он делал серьёзное лицо, — тёмно-карие, живые, быстрые.

Значок девятки у Серёги появился ещё в конце зимы — он родился в феврале. Тогда свежая нашивку блестела жутко ярко, и он с особой гордостью закатывал рукав, чтобы все видели. Сон к нему пока не приходил, и Серёга этим почти хвастался: мол, «меня, наверное, на сладкое оставили — самых классных напоследок забирают».

— Ну что, герой ночи? — догнал он и ткнул Лёшу локтем в бок. — Не исчез? Не растворился в стене?

— Сам видишь, — Лёша помахал ему ладонью у самого носа. — Целый. Без дырок.

— А я, между прочим, тоже ещё тут, — Серёга надулся,

но быстро сменил тему: — Слышь, у меня для тебя подарок.

Он перекинул рюкзак так, что тот повис на одном плече, расстегнул молнию и бережно вытащил коробку с настольной игрой.

— Вот, держи. С днюхой тебя, друг, — важно сказал он и протянул коробку.

— Ого... вот это да. Круто, спасибо! — Лёша присвистнул, прижимая игру к себе, будто она могла исчезнуть.

— Давай в субботу у меня поиграем? Ваню позовём, — предложил Серёга.

— Круто, давай, — отозвался Лёша и вдруг немного осёкся.

Как он вообще мог так просто договариваться играть, словно ничего не изменилось, словно впереди у них с Серёгой и Ваней было сколько угодно суббот?

— А где Ваня? — спросил он вслух, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно естественнее.

Ваня жил с Серёгой в одном доме, и обычно они ходили в школу втроём.

Ваня был из тех мальчишек, на которых во дворе невольно задерживаешь взгляд: светлый, чуть рыжеватый, с мягкими, немного выющимися волосами и ямочками в щеках, которые тут же проступали, стоило ему хотя бы немного улыбнуться.

Говорил Ваня быстро, перескакивая с темы на тему и приукрашивая каждую мелочь, размахивал руками, показывая, как именно это всё было, — и никто особенно не спраши-

вал, правда это или нет. Он вечно что-то придумывал: новые правила для игр, невероятные истории про соседей, планы на каникулы, в которые сам не до конца верил, но рассказывал так, будто всё уже давно решено. Когда Ваня смеялся — громко, не умея сдерживаться, — в щеках появлялись такие глубокие ямочки, что даже самые суровые учительницы на секунду смягчались и ограничивались тяжёлым вздохом вместо выговора. Про таких в школе обычно говорили: «Учится хорошо, а вот поведение...» — и многозначительно качали головой.

В те редкие дни, когда Ваня не был в ссоре со своим старшим братом, он ездил с ним в школу на велосипеде.

— Ваня с Костей поехал сегодня, — сказал Серёга.

Костя, его старший брат, казался почти взрослым: высокий, угловатый, всегда немного отстранённый, с такой серьёзной миной, будто вокруг него всё время происходило что-то важное. Он редко появлялся во дворе, держался со своей компанией и смотрел на младших так, словно они были шумными воробьями под ногами.

Лёша больше дружил с Серёгой, но Ваню тоже любил — с ним было интересно, как на праздничном фейерверке, никогда не знаешь, что выстрелит следующим. Только сам Ваня чаще тянулся к старшему брату и его друзьям, и с Лёшей и Серёгой бывал не так уж часто — скорее как гость, чем как третий в их маленькой компании.

Они шли по лужам, обходя особенно глубокие, и в каждой

тёмной гладкой поверхности отражалось серое небо и обруб-ки деревьев, похожие на чёрные пальцы. Иногда, когда Лёша спотыкался о камень и рябь пробегала по воде, ему казалось, что отражение запаздывает на полсекунды — как будто кто-то там, под лужей, возвращает его движения с задержкой.

— А у Алёны из «В» класса вообще теперь ничего не горит, — вдруг сказал Серёга, немного снижая голос. — Видел их окна? Тёмные. Бабка говорит, её родители на свет смотреть не могут.

— Брр, это жутко, — поёжился Лёша. Он сразу представил себе чёрную квартиру, где даже днём шторы задвинуты, а на стенах висят чужие тени.

— Ага, — протянул друг.

Школа уже виднелась впереди — жёлтое здание с белыми колоннами и немного облупившейся штукатуркой. По мокрым ступеням стекала тонкая струйка талой воды. Над входом висел знакомый баннер: «Нашим девятилетним — удачной дороги!» Под надписью была нарисована радостная толпа детей, идущих по широкому светлому мосту к сияющему дому.

Этот баннер не снимали никогда, только иногда меняли выгоревшие буквы. Раньше Лёша почти не смотрел на него.

«Врут, — подумал он. — Никто точно не знает, какая там дорога. И куда этот мост ведёт».

В раздевалке было, как всегда, шумно и душно. Взрослых

там почти не бывало — только тётя Нина, гардеробщица, в своей вязаной кофте, которую она не снимала даже летом.

Казалось, что она знает все слухи в школе и слышит каждое слово, даже когда отворачивается.

Пахло мокрой одеждой, пылью и чему-то неуловимо детским — смесью мыла, фломастеров и каши. Когда Лёша вдохнул глубже, ему вспомнился вчерашний запах — яркий, бодрый, как рыжий огонёк среди серой весны. Теперь, стоя в раздевалке, он почувствовал, как рукав с нашивкой чуть тянет кожу.

— Смотри, ещё один, — шепнула кому-то девочка из первого класса с косичками, кивая на Лёшу.

Он сделал вид, что не слышит.

У дверей в коридор Серёгу перехватил Артём — высокий, всегда слишком громкий мальчишка, который любил рассказывать страшные истории и всегда находил, чем кого-нибудь уколоть. На его коричневой куртке девятка была обведена чёрными нитками, как траурная рамка.

— Видали? — кивнул он на значок у Лёши на рукаве. — Свежак. Недавно только девятка появилась, ещё не выцвела.

— Сам-то давно с девяткой ходишь, — буркнул Серёга. — Чего распетушился?

— Я? — Артём расправил плечи. — Я, между прочим, уже готов. Я знаю, как возвращаться.

— Все знают, — вмешалась Вика, худенькая девочка с сильным голосом, которая сидела на первой парте и всегда

тянула руку. — Нам же всем памятки раздавали. «Вспомните адрес, вспомните лица близких, не задерживайтесь на развилках, не вступайте в разговор с...»

— Да знаю я, — перебил её Артём. — Я не про памятку и не про ваши буклеты. У меня, вообще-то, брат уже проходил.

Он понизил голос, и вокруг них ленты шарфов и рукавов чуть-чуть сдвинулись поближе. Даже тётя Нина на секунду перестала грохотать вешалками.

— Он сказал, главное — не смотреть им в глаза.

— Кому — им? — переспросил кто-то сзади.

— Тем, — Артём ухмыльнулся, как мог загадочнее. — Которые зовут. Которые уже не вернулись.

В раздевалке на секунду стало тише. Только где-то капала вода с чужих сапог.

— Опять заладил, — проворчала тётя Нина, но тоже тише, чем обычно. — Страшилки свои распускает...

— А что, это правда, — не унимался Артём. — Брат говорит, они везде. Прячутся в углах. Где темно — там они. И если слишком долго смотреть в темноту, можно увидеть, как кто-то машет тебе. Только руками, без лица.

У Лёши по спине пробежал холодок. Сразу представилось: чёрный угол в их коридоре ночью, и оттуда тянутся руки — длинные, как у тени на стене, только рук много. А лиц у них нет, только пустые белые круги, где глаза должны быть, и они тоже будто смотрят.

— Хватит, — Вика нахмурилась, стягивая с руки вареж-

ку. — Я читала, что это всё сказки. Что все эти тени — последствия атмосферных явлений.

— Конечно, — поддакнул Серёга, но как-то невнятно. — Атмосферные... явления.

— Ага, — усмехнулся Артём. — Атмосфера, значит, встала и пошла по стене.

Несколько человек нервно хихикнули.

— И ещё, — добавил он, словно между делом, — брат сказал: самое страшное — если рассвет тебя там застанет. Если не успеешь вернуться до того, как тут солнце выглянет. Тогда останешься с ними навсегда.

— В учебнике такого нет, — мгновенно отреагировала Вика. — И в буклете тоже.

— А думаешь, туда всё пишут? — Артём пожал плечами. — Про то, что у нас в старом крыле лестница холодная круглый год, тоже нигде не пишут. А она холодная.

Он кивнул куда-то в сторону окна, за которым виднелась часть заднего двора и тёмное крыло школы, куда теперь почти никого не пускали.

— Там, в старом крыле, мальчик один не вернулся, — продолжал он. — Он уснул прямо на лестнице, понял? Первый сон пришёл к нему прямо в школе.

— Не бывает такого, — возмутилась Вика. — В буклете написано, что должен быть ночной сон.

— Буклет, — отмахнулся Артём. — А жизнь — другое дело. Они с родителями поссорились, говорят, прямо нака-

нуне. Он всю ночь проплакал, а утром в школе заснул перед уроками, сидя на ступеньках. И вот.

Он многозначительно умолк. Кто-то сглотнул.

— Идите в класс, — сказала тётя Нина уже мягче, чем обычно. — Звонок скоро.

В коридоре гул стоял сильнее, чем обычно. Сразу чувствовалось: в школе началась новая волна девятилетних. В каждом классе было по несколько детей с маленькими значками или цветными ленточками на рукаве. Кто-то обводил цифру блёстками, кто-то, наоборот, прятал нашивку под кофтой, будто боялся, что за неё схватят.

На доске объявлений висел свежий приказ: «О проведении разъяснительных бесед с учащимися, достигшими девятилетнего возраста». Под ним — расписание «информационных минут». В первом столбике аккуратно было выведено: 3 «Б», классный руководитель — Елена Павловна.

Чуть ниже висел другой плакат, уже старый, с выцветшими буквами: «Успешной вам третьей четверти!» На нём был нарисован щенок с портфелем и улыбкой до ушей. Щенок выглядел так, будто не знал ни про какие чёрные ленты на дверях.

— Опять будут говорить, что всё безопасно, — пробормотал Серёга, подталкивая плечом Лёшу к их кабинету. — Что, мол, случаев всё меньше, а раньше было хуже. Моя бабка говорит, при её мамке вообще без огней обходились. И

никаких буклетов.

— Зато про тени тогда всерьёз верили, — отозвался Лёша.

— А сейчас не верят? — Серёга хмыкнул. — Ты бабку мою не слышал. Она уверена, что если вместо девятки другую цифру пришить — можно их запутать.

— И какую пришьёшь? — усмехнулся Лёша.

— Ноль, — серьёзно сказал Серёга. — Типа мне ещё рано.

На последнем уроке был классный час. Класс уже успели разогреть математикой, русским и окружающим миром, голоса слегка осипли от шёпотов и хихиканья. В кабинете стоял привычный запах мела, влажной тряпки и чего-то сладкого.

На доске кто-то оставил примеры с прошлого урока, и «9 × 3» смотрело на Лёшу особенно нагло.

— Садимся, дети, — сказала Елена Павловна, входя в класс и хлопнув папкой по столу.

Елена Павловна была женщина лет сорока с мягкими чертами лица и строгой причёской. Тёмные волосы она убирала в аккуратный пучок на затылке, из которого иногда всё же вырывались непослушные пряди. На переносице у неё сидели тонкие прямоугольные очки в золотистой оправе, придавая ей ещё более учительский вид.

Лицо у неё было обычно спокойное: светлые глаза, внимательные и немного печальные, прямой нос, мягкий изгиб губ. Когда она улыбалась, появлялись неглубокие морщинки у глаз, и тогда казалось, что в кабинете становится чуть

светлее.

Сегодня она выглядела чуть более уставшей, чем утром. Под глазами легли лёгкие тени, а уголки рта опустились. И всё же она попыталась улыбнуться своей особой, ободряющей улыбкой, от которой у некоторых девочек сразу тянулись руки.

— Сегодня классный час будет коротким, и я вас пораньше отпущу.

По классу прошёл лёгкий вздох облегчения и шорох, как будто все одновременно поёрзали на стульях.

— Но сначала, — продолжила она, — я хочу напомнить, что у нас вчера был день рождения у Лёши. Ему исполнилось девять лет.

Несколько человек зааплодировали — нестройно, но от души. Серёга свистнул так, что Елена Павловна тут же на него строго посмотрела, но уголки её губ всё равно дёрнулись.

— Лёша, ты можешь пройти, раздать угощения, — сказала она мягче.

Лёша неловко прошёл по рядам и положил каждому на стол по большой конфете и мандаринке.

Класс пошумел, пощёлкал и покидался корочками. Потом всё убрали, и Елена Павловна принялась за настоящий классный час.

Она напомнила про дежурства по классу и коридору, про то, что бегать по лестницам нельзя, особенно теперь, когда

по утрам мокро. Отдельно остановилась на девятилетних: попросила не слушать страшилки в коридорах, не засиживаться допоздна у компьютеров, соблюдать режим сна и, если кому-то сильно тревожно, — обязательно приходить к ней или в кабинет школьного психолога.

Пока она говорила, кто-то записывал, кто-то вертел в пальцах ручку. Лёша смотрел в парту и думал, что всё это звучит так, будто они готовятся не к какому-то там «периоду развития», а к длинному, опасному походу, на который всех поголовно отправляют по спискам.

От класса ему подарили большого травянчика в виде ёжика — тряпичную игрушку, набитую смесью опилок и семян травы. Сказали, что если его регулярно поливать, на спинке вырастут густые зелёные «иголки» — настоящая травяная причёска.

— Пусть у тебя всё хорошо вырастет, — сказала одна из девочек, Юля, розовощёкая, с двумя тугими косами, и тут же покраснела, поняв, как это прозвучало. Класс захихикал, но не зло. Елена Павловна улыбнулась, но промолчала.

Потом Елена Павловна сказала, чтобы класс потихоньку собирался:

— На сегодня всё, можете идти домой.

Деревянные стулья заскрипели, в дверях сразу образовалась толчея.

— Лёша, останься на минутку, — добавила она.

Все вышли, только Серёга задержался в коридоре, пома-

хал Лёше и показал жестом, что подождёт.

Елена Павловна закрыла дверь, подошла к своему столу, порылась в ящике и достала оттуда большую пористую шоколадку и уже знакомый тонкий буклет.

— Дома с мамой почитаете, — сказала она, кладя их на его парту.

Она осторожно погладила Лёшу по голове — не как ребёнка, который опять забыл сменку, а как кого-то, кому предстоит сделать то, чего она за него сделать не может, — и разрешила идти.

Лёша опустил глаза на обложку. Там был нарисован мальчик, идущий по ночной улице с фонарём в руке. Фонарь освещал только маленький круг, а за этим кругом тьма выглядела ещё плотнее, почти осязаемой. В глубине темноты угадывались какие-то размытые силуэты: то ли деревья, то ли дома, то ли чьи-то фигуры, которые отворачиваются, когда на них смотришь.

Дом в конце дороги был тёплым и светлым, окна его горели таким же янтарным светом, как сегодняшние мандариновые дольки в их классе. Но до этого дома ещё нужно было добраться.

Пока они с Серёгой шли домой, перепрыгивая через лужи и обходя самые глубокие, друг привычно что-то болтал — о том, как в субботу они обязательно обыграют Ваню в настолку, о какой-то новой компьютерной игре, о том, что в столовой сегодня опять была противная вермишель. Лёша

кивал в подходящих местах, но почти не слушал. Мысли всё равно жужжали о своём.

«Главное — не останавливаться», — всплыло в голове, словно кто-то прошептал из глубины памяти. Кто это сказал? То ли папа, то ли ведущий в передаче, то ли Артём своим страшным голосом в раздевалке.

«И успеть до рассвета», — добавил другой шёпот — уже явно не из учебника и не из буклета.

Лёша сглотнул. Впервые за весь день он думал не о том, как страшно ждать, и не о том, как обидно, что ночью ему так ничего и не приснилось, а о другом: как сильно ему не хочется однажды оказаться тем, чья тень остаётся на чужой стене или чья лента чернеет на дверной ручке.

Он провёл пальцем по шершавому краю своей девятки на рукаве — нашивка царапнула кожу, как будто напомнила о себе.

И если бы сейчас он мог обратиться к тому, кто уже стал тенью — к Яше с четвёртого этажа, к тем, про кого шепчутся в старом крыле школы, — он бы, наверное, сказал только одно:

«Прости. Но я хочу домой».

Глава третья. Благословение

Лёшины планы на субботу переменились ещё в пятницу вечером.

За ужином бабушка, папина мама, сама позвонила из деревни и велела привезти к ней младшего внука.

— Завтра же, — сказала она своим суховатым, строгим голосом, от которого даже папа всегда отвечал не сразу. Десятилетие по телефону не благословляют.

После этих слов в кухне наступила тишина.

Мама опустила глаза в чашку. Папа кивнул, хотя бабушка не могла этого видеть. А Лёша сидел, держа ложку над тарелкой, и чувствовал, как внутри у него медленно поднимается что-то странное: не то тревога, не то облегчение.

Первый сон всё ещё не приходил.

Это упрямое «ещё не пришёл» висело над ним всю неделю, как низкое небо перед грозой: пока сухо, пока тихо, но где-то в глубине уже копится тяжесть. От неё было трудно читать, трудно делать уроки, трудно даже просто сидеть спокойно. Мысли всё время возвращались к одному и тому же. Иногда Лёша замечал, что долго смотрит в страницу или в тёмный угол комнаты и не помнит, о чём думал.

Наверное, это чувствовали все.

Бабушка с дедушкой, мамины родители, будто нарочно стали чаще заходить. Бабушка почти каждый день сидела с

мамой на кухне, разговаривая вполголоса, а бабушка приносил апельсины, спрашивал про школу и всякий раз начинал что-нибудь рассказывать о Первом сне — но тут же сбивался и умолкал.

И вот теперь бабушка из деревни позвала его к себе.

Не просто поздравить.

Благословить.

Лёша не знал, стало ли ему от этого легче, но в животе вдруг появилось тихое, осторожное тепло. Бабушкин дом вспомнился так ясно, словно ждал его всё это время: печка, старый сад, собака на веранде, тёмные окна под крышей, колокольчик на калитке. И всё же даже в этом воспоминании не было полной мирности. Дом представлялся не убежищем от тревоги, а местом, где о ней наконец скажут прямо.

— Мы же не останемся ночевать? — спросил он позже, когда мама складывала вещи.

Она подняла на него быстрый взгляд и сказала:

— Нет. Вернёмся до вечера. Тебе сейчас надо быть дома.

Мама не добавила больше ничего, но Лёша и так понял.

Если Первый сон придёт, он должен застать его среди своих огней.

С утра мама собиралась так, словно им предстояла долгая дорога. По кухне медленно полз солнечный свет, а она ходила через него туда и обратно, всё время что-то проверяя, перекладывая, завязывая, передавая папе сумки и пакеты. Па-

па ворчал, что едут всего на день, но обратно ничего не относил. Он тоже был напряжён — Лёша видел это по тому, как часто папа молча сжимал челюсти.

Сам Лёша оделся раньше обычного и ждал у двери, слушая шорохи квартиры.

Когда они вышли во двор, день уже поднялся и зазвенел по-весеннему. Снег лежал только у краёв газонов серыми ноздреватыми островками. Между ними блестели лужи, в которых отражались дома и бледное, ещё холодное небо. Воздух пах талой водой и землёй.

Пока папа укладывал сумки в багажник, мама ещё раз оглядела Лёшу с головы до ног. Её пальцы сами собой коснулись рукава, где голубел кружок с цифрой девять.

Не знак даже — срок.

— Не уснёшь в дороге? — спросила она, стараясь улыбнуться.

— Днём? — сказал Лёша, и вышло храбрее, чем он чувствовал.

Он сел назад, пристегнулся и прижался виском к холодному стеклу.

Машина мягко тронулась с места.

Сначала поплыли назад знакомые дворы, школа, стены домов, чужие окна. На одном подъезде чернела траурная лента, и Лёша отвернулся прежде, чем успел разглядеть номер квартиры. Потом город стал разреженнее, дома ниже, улицы шире, и скоро впереди осталось только шоссе — ровное,

светлое, уходящее за горизонт.

В машине долго никто не говорил.

Лёша смотрел, как за окном тянутся лесополосы, поля, редкие остановки, и пытался не думать о ночи. Но мысли всё равно возвращались.

Он вспомнил мальчика из соседнего дома — того самого, о котором шептались на лестнице. Вспомнил буклеты в школе. Вспомнил чёрные ленты на дверях.

И ещё — Ваню, который в четверг, по дороге из школы, размахивая руками, рассказывал, как во вторник к нему пришёл Первый сон.

— Я сначала вообще решил, что умер, — говорил Ваня, пнув сугроб. — Лежу и не понимаю: тело у меня есть или уже нет. А потом — раз! — и я уже в каком-то городе, только он весь вверх ногами, и лестницы идут прямо по воздуху. Я по ним как побежал!

Он рассказывал, как по этим лестницам ходили странные люди в длинных плащах, а вместо лиц у них были часы, и стрелки на каждом циферблате крутились в разные стороны. Заглядывая в окна, он видел не комнаты, а леса, бесконечные коридоры и тёмные реки.

— И не страшно было, — заключил Ваня с важностью. — Просто... чудно. А теперь я каждую ночь сны вижу. И вчера видел, и сегодня. Как кино, только лучше.

Тогда Лёша только кивал, делая вид, что ему всё равно и что он совсем не завидует. Но сейчас, когда машина несла их по светлому шоссе, Ванины слова снова всплыли в памяти и пристали к ней, как репей.

«Каждую ночь», — повторил он про себя и невольно прижал локтем рукав с девяткой.

Папа вдруг кивнул вправо:

— Вон там старое кладбище.

Солнечный свет скользнул между деревьями и на миг выхватил из тени покосившиеся кресты.

— Не надо, — тихо сказала мама.

— А что такого? — отозвался папа. — Кладбище и кладбище.

Но после этого все опять замолчали.

Лес вдоль дороги стоял ещё голый, чёрный после зимы. Меж стволами белели островки старого снега, и Лёше несколько раз чудилось, что среди них кто-то стоит — тонкий, вытянутый, светлее воздуха. Один раз ему даже показалось, что у самого края леса мелькнула фигура в длинной рубахе. Она была там всего мгновение, а потом шагнула обратно в чащу и пропала.

Лёша моргнул и сильнее прижался к стеклу.

День оставался ясным, машина шла ровно, мама сидела впереди, сжав пальцы на ремешке сумки, папа вёл, не отрывая глаз от дороги. Всё было обыкновенно. Только у Лёши по спине прошёл холодок.

Ему вдруг подумалось: а если Первый сон приходит не только ночью? Если он может ждать человека и на дороге, среди белого дня, пока тот думает, что до темноты ещё далеко?

Но он ничего не сказал.

Через какое-то время шоссе свернуло между полями, и впереди, на холме, показалась маленькая белая часовня с тёмной крышей. Солнце било по её стенам так, что они светились.

— Часовня Поворота, — сказал папа. — Твоя бабушка говорит: кто мимо неё едет, тот дорогу домой не потеряет.

Мама вздохнула, но уже без упрёка.

А Лёша долго смотрел на белую часовню, пока она не осталась позади. Ему подумалось, что, если в ночи и правда есть дороги, где-то на них тоже должны стоять свои часовни — только невидимые для дневных глаз.

Когда они свернули с трассы, мир сразу стал тише.

Дорога сузилась. По обочинам пошли низкие дома, голые сады, кривые заборы, колодцы, сараи. Здесь всё выглядело так, словно зима ещё не ушла до конца, а весна только примерялась к земле. На крышах кое-где держался снег. Из чёрной почвы торчали сухие прошлогодние стебли. Но в воздухе уже было что-то живое, влажное, терпеливое.

Бабушкина деревня лежала в низине между двумя половинами леса.

Её дом Лёша узнал сразу, ещё до того, как машина подъехала к воротам: старый красный кирпич, тёмные швы, высокий чердак со слуховыми окошками, высохший плющ на стене. Дом стоял спокойно и прямо, как человек, который давно пережил многое и теперь просто смотрит.

На калитке висел маленький колокольчик. Он еле слышно звякнул, хотя ветра почти не было.

— Приехали, — сказал папа.

Прежде чем на крыльце показались люди, из дома выскочила собака — крупная, рыжеватая, тяжёлая в движениях. Она твякнула, сбежала по ступенькам и подбежала к Лёше. Обнюхала ботинки, потом замерла у рукава с девяткой. Ноздри у неё дрогнули. Только после этого собака фыркнула, махнула хвостом и позволила погладить себя.

— Рада, уймись, — крикнули из дома.

На крыльцо вышла бабушка.

Невысокая, в тёмном платье и жилете, с платком на затылке, она опиралась на палку, но стояла крепко. Серые глаза под выгоревшими бровями смотрели так внимательно, словно видели не только Лёшу, но и то, что шло рядом с ним всю эту неделю.

Позади неё стояли папина сестра тётя Оля и Максим, Лёшин двоюродный брат.

— С днём рождения, соколик, — сказала бабушка и крепко обняла его. От неё пахло печкой, сухими травами и дымом.

Потом она чуть отстранилась и, не сводя с него глаз, тихо добавила:

— Ничего. До вечера успеем.

Лёша не спросил, что именно успеют. Он и так понял.

В доме было тепло, чуть сумрачно и спокойно. На веранде пахло сыроватым деревом и собакой, а дальше — едой, чаем, старым домом. На подоконниках зеленели цветы, в дальнем углу поскрипывали часы.

Дальше всё пошло быстро, без лишней суеты: обнялись, сняли куртки, поставили на стол привезённый пирог.

Тётя Оля вынесла сладости, но Лёша почти не смотрел на них. Больше всего его обрадовала коробка, которую протянул Максим, — старый металлический конструктор, немного потёртый по краям.

— Мой, — сказал Максим. — Теперь твой.

— Правда?

— Ага.

В этой коробке было что-то особенно хорошее — не новое, не празднично-нарядное, а настоящее, с памятью чужих рук.

Лёша провёл пальцами по шершавому картону и тихо сказал:

— Спасибо.

Максим только кивнул, как старший.

После чая взрослые вышли во двор, а Максим незаметно

толкнул Лёшу локтем:

— Пойдём. Покажу кое-что.

Они ушли в сарай под старой яблоней.

Внутри было тепло, пыльно и темновато. Сквозь узкие оконца падали полосы света, и в них плавали золотистые пылинки. У стены стояли инструменты, жестяные банки, старые колёса, а в углу — наполовину разобранный мопед, главная гордость Максима.

Он рассказывал о нём вполголоса, с такой серьёзностью, словно это был не мопед, а живое существо, которое однажды проснётся. Лёша слушал, держал какие-то детали, пачкал пальцы в чёрной смазке — и впервые за долгое время чувствовал, что дышит ровнее.

Но даже здесь тьма не ушла совсем.

Когда он на секунду посмотрел в дальний угол сарая, ему почудилось, что за старыми ящиками стоит тонкая вытянутая тень. Он моргнул — и увидел только ремень, свисающий с гвоздя.

— Держи крепче, — сказал Максим, и наваждение рассеялось.

Они провозились там до самого обеда.

За столом было шумно, тепло, по-домашнему. Пахло дымом, мясом, хлебом. Солнце лежало на скатерти широкими пятнами. Взрослые вспоминали что-то старое, смеялись, спорили о пустяках.

И всё же даже в этом тепле чувствовалась скрытая осторожность. Никто не говорил о Первом сне прямо, но он сидел с ними за столом невидимым гостем. Иногда бабушка замолкала посреди фразы и смотрела на Лёшу так, словно примерялась к чему-то важному. Мама улыбалась, но слишком быстро. Папа шутил громче обычного.

После обеда бабушка позвала:

— Иди-ка ко мне, Алёша.

Она отвела его не в кухню и не в большую комнату, а в маленькую спальню в дальнем конце дома. Там всегда было чуть темнее, чем в остальных, а воздух пах тканью, молоком и чем-то новым.

У стены стоял голубой манеж. Как только они подошли, туда ловко запрыгнула бабушкина кошка Лея, и внутри зашевелились три крошечных комочка.

Котята.

Один был рыжий, почти золотой в солнечном луче. Второй — чёрно-белый. Третий — совсем чёрный, с белым пятнышком на груди.

Они кусали друг друга, пищали, путались в лапах и нападали на уши своей мамы-кошки.

— Выбирай, — сказала бабушка.

Лёша растерянно посмотрел на неё.

— Мне?

— Тебе, конечно. Я с родителями договорилась.

Рыжий котёнок, словно услышав это, оторвался от матери,

шатаясь, подошёл к краю манежа и полез вверх. Лёша едва успел подхватить его, когда тот перевалился через край.

Котёнок был тёплый, лёгкий, с острыми коготками-иголками.

— Вот и всё, — довольно сказала бабушка. — Он сам выбрал.

Лёша смотрел на рыжий комочек у себя в ладонях и чувствовал, как что-то внутри, зажатое всю неделю, начинает дрожать.

Когда они вышли в большую комнату, он только и смог спросить:

— Мам... — голос у него предательски дрогнул. — Это... можно?

Мама посмотрела на котёнка, потом на Лёшу — и улыбнулась так, словно давно ждала этой минуты. Папа сделал вид, что думает, но не выдержал и махнул рукой:

— Можно. Только смотреть за ним будешь сам.

— Буду, — выдохнул Лёша.

И тут его прорвало.

Слёзы пошли сами, горячие, быстрые. Он уткнулся в папину грудь, прижимая к себе котёнка, а тот, ничуть не смутившись, полез ему на плечо и принялся грызть край уха.

Кто-то засмеялся. Мама присела рядом, взяла Лёшу за руку. Папа обнял его крепче. И Лёша плакал — не от обиды и не от стыда, а от того, что страх, копившийся в нём всю неделю, вдруг нашёл выход.

Когда он наконец поднял голову, глаза всё ещё жгло, зато дышать стало легче.

— Имя придумал? — спросила бабушка и погладила внука по голове.

Лёша посмотрел на рыжего зверька, который уже свернулся у него на руках, и ответил почти сразу:

— Персик.

— Персик, значит, — кивнула бабушка. — Ладно. Хорошее имя.

Она помолчала и добавила уже другим голосом — медленным, старым:

— В доме обязательно должна быть живина.

— Кто? — не понял Лёша.

— Живина. Любая живая тварь, что при доме остаётся. Кошка, собака, хоть птица под крышей. Пока при доме живина есть, душа его не блудит.

В комнате стало тише.

Даже Максим перестал улыбаться.

— Если человеку далеко уходить приходится, — продолжала бабушка, — хоть по земле, хоть во сне, живина за него тропку домой топчет. Чтобы помнил, куда возвращаться.

Лёша невольно прижал котёнка крепче.

— Значит, Персик будет мне дорогу показывать?

— А как же. Кошки — народ межевой. Межевики. Они по самой границе ходят, где один мир кончается, а другой ещё только начинается.

Слово это легло в память сразу.

Межевики.

Рыжий котёнок тихо заурчал, словно подтверждая её слова.

Позже двор немного притих.

Мама с тётей Олей убрали со стола. Папа ушёл посмотреть мопед. Максим крутился рядом с ним. Бабушка вышла на старую скамью у стены дома, туда, где ещё держалась тень. Под крышей висели клочки снега, и с них медленно падала талая вода.

Лёша сидел на ступеньках с Персиком на руках.

Солнце уже перебралось на эту сторону двора, и по доскам ползли узкие золотые полосы. Котёнок, пригревшись, уснул у него на коленях.

— Иди ко мне, — позвала бабушка.

Лёша сел рядом.

Несколько мгновений она просто смотрела на его рукав. На голубую девятку.

— Дошёл, значит, — сказала она наконец. — Теперь всё по-настоящему.

— Это просто нашивка, — пробормотал Лёша.

— Нашивка — да. А время — нет.

Он промолчал.

— Боишься? — спросила бабушка.

И от того, как прямо она это сказала, соврать не получи-

лось.

— Не знаю, — ответил он честно.

Это и правда было не совсем страхом. Иногда ему хотелось спрятаться под одеяло и не вылезать. Иногда — наоборот, злило, что Первый сон всё не приходит, словно обошёл его стороной. Иногда — хотелось просто перестать думать.

Бабушка кивнула.

— И хорошо. Не знать — честнее, чем храбриться.

Она смотрела поверх забора, туда, где за деревней темнела полоска леса.

— Раньше про Первый сон иначе говорили, — сказала она спустя время. — Не как теперь. Не бедой его звали. Благословением. Переходом.

От этого слова у Лёши по спине прошёл холодок.

— Но ведь некоторые не возвращаются, — тихо сказал он.

Бабушка не стала спорить.

— Бывает, — ответила она. — Раньше говорили: ночь забрала. Теперь говорят: не проснулся. Слова меняются, а суть — нет.

Её рука легла ему на плечо — тёплая, тяжёлая.

— Только запомни одно. Первый сон — это не одна только жуть. Это ещё и зрение.

— Какое зрение?

Она коснулась пальцами его века.

— Не это. Другое. Внутреннее. То, которым видят дорогу, когда вокруг темно.

Мальчик замер.

Он сразу представил глаз, спрятанный где-то глубоко внутри, за лбом, — такой, который открывается только ночью.

— Мы, старики, — продолжала бабушка, — уже мало что видим во сне. А вам, детям, ночь сперва открывается. Показывает себя. Не только страшную — живую тоже. Глубокую. Красивую.

— Красивую? — переспросил он недоверчиво.

— У страха голос громче, — сказала бабушка. — Вот его все и помнят. А красота тихая.

Она постучала ему пальцами по груди.

— Дом свой надо помнить не головой, не адресом. Вот тут. Здесь. Твои люди, твои огни, твоя дверь. Если сам не отпустишь, никакая тьма не сотрёт.

Лёша вспомнил свою комнату, огни на окне, кухонный стол, маму, папу. И вдруг — очень ясно — представил Персика у себя дома, свернувшегося клубком у батареи или в ногах кровати.

— А если кто-то там зовёт? — спросил он.

Он и сам не знал, откуда вырвался этот вопрос. Может, из разговоров взрослых. Может, из тех чёрных лент, что он видел последнее время слишком часто.

Бабушка долго молчала.

Где-то в доме мякнула Лея. Персик шевельнулся во сне.

— Звать будут, — сказала бабушка наконец. — Ночь все-

гда зовёт. И те, кто в ней остался, — тоже. Им одиноко. Но ты запомни: их дорога — не твоя. На чужую тропу не ступай.

Лёша сглотнул.

— А если я заблужусь?

— Не заблудишься, — сказала бабушка. — Ты упрямый.

И дом у тебя крепкий. Теперь ещё и ежевик свой будет.

Она положила обе ладони ему на голову.

Лёша даже дышать перестал.

Голос у бабушки стал совсем тихим, но от этого ещё более крепким, как если бы слова говорили не только её губы, но и сам дом, и сад, и старая земля под ними.

— Благословляю тебя на Первый сон, Алёша. Не пугаться раньше времени. Не зазнаваться. И не забывать, куда возвращаться. Ночи не бояться, но и не лезть к ней обниматься. И глаза свои — эти, — она тронула его веки, — и тот, внутренний, — держать открытыми.

Где-то на чердаке тихо скрипнула доска.

Лёша вздрогнул, но не отстранился.

— Спасибо, — прошептал он.

Бабушка убрала руки, и сразу снова стала просто бабушкой. Только теперь Лёша знал, что это «просто» ничего не значит. За её словами стояло что-то старое и прочное, как камень в фундаменте.

Он сидел рядом с ней, держа на коленях спящего Персика.

Тень от дома лежала у их ног тёмной полосой. На миг Лёше почудилось, что она дрогнула и потянулась к нему, как

живая. Но в ту же секунду с крыши сорвалась капля талой воды, ударилась о доску, и тень снова стала просто тенью.

Из кухни доносился мамин смех. Во дворе говорил папа. Где-то звякнул колокольчик на калитке. Персик дышал часто и горячо, иногда чуть дёргая лапкой во сне.

Страшно ли было Лёше теперь?

Да.

Но теперь страх стоял не один.

Рядом с ним были бабушкины ладони, белая часовня Поворота и рыжий котёнок-межевик.

Он осторожно провёл пальцем по тёплой спине Персика и совсем тихо, так, что услышал только сам себя, сказал:

— Я вернусь.

Бабушка ничего не спросила. Только положила руку ему на щёку и погладила, как гладят перед дорогой.

Солнце клонилось к вечеру. Во дворе было светло и мирно.

Но Лёша уже понимал: тьма никуда не ушла.

Она просто отступила на шаг.

Глава четвёртая. Лента

Уезжали они позже, чем собирались.

День ещё держался, но уже заметно клонился к вечеру; солнце опустилось ниже, и свет стал гуще, темнее, словно в нём примешали золы. Во дворе у бабушки всё было по-прежнему тихо и мирно — капала с крыши вода, пахло сырым деревом, в дальнем конце сада чернели голые ветви, — только эта мирность теперь казалась тонкой, как лёд на весенней луже.

Бабушка стояла на крыльце, опираясь на палку, и смотрела не то на них, не то поверх них, в небо над дорогой.

— Засиделись, — сказала мама, оправляя шарф. — Думала, раньше выедем.

Бабушка ничего на это не ответила. Только подошла к машине, нагнулась к открытому окну и тихо, но твёрдо сказала Лёше:

— Не дремать в дороге.

Он кивнул сразу, хотя внутри у него всё неприятно жалось.

Персик ехал с ними в старой картонной коробке, которую бабушка выстелила полотенцем. Коробку поставили рядом с Лёшей, на сиденье. Сначала котёнок возился, шуршал, царапал край, потом свернулся в рыжий комок и затих. Иногда из коробки слышалось тонкое, почти птичье посапывание.

Когда машина тронулась, бабушка перекрестила их вслед.

Колокольчик на калитке звякнул один раз — слабо, как будто издалека.

Лёша обернулся. Дом стоял на своём месте — красный, крепкий, спокойный. В его тёмных окнах уже начинал собираться вечер. Ему вдруг очень не захотелось уезжать. Там, во дворе, страх был приручён, как собака, лежащая у крыльца: никуда не делся, но знал своё место. А дорога снова размыкала всё вокруг, делала мир длинным и пустым.

Он смотрел назад, пока дом не скрылся за поворотом.

Тогда мама повернулась с переднего сиденья:

— Не уснёшь?

— Нет, — сказал он.

— Если начнёт клонить, скажи сразу.

— Угу.

Папа прибавил скорость. Машина мягко качнулась и вышла на дорогу между полями.

Сначала ехали молча. Свет за окном редел. Поля, ещё голые, тянулись по обе стороны серыми полосами; кое-где в низинах лежал старый снег, грязный, зернистый. Лес на дальнем краю казался сплошной тёмной стеной. Небо над ним уже меняло цвет — сверху ещё бледно-голубое, у самой земли оно медленно наливалось фиолетовым.

Лёша достал телефон.

Экран вспыхнул в ладонях холодным светом, и от этого внутри стало немного спокойнее. Будто он открыл малень-

кое окошко в другой, понятный мир — где всё можно листнуть вниз, приблизить, закрыть, если не нравится. Он вставил наушник в одно ухо, второй оставил свободным, чтобы слышать маму с папой и коробку с Персиком.

Сначала он открыл карту.

Синяя нить дороги тянулась вперёд, к городу. Под ней светились цифры: 2 часа 14 минут.

Лёша посмотрел на них так, словно от одного взгляда они могли стать меньше.

Потом открыл переписку с Серёгой.

Серёга написал ещё сорок минут назад:

«Ну что, благословили тебя?»

Лёша не ответил тогда — сидел на скамье у бабушки, держал Персика, слушал старые слова. Теперь он помедлил и напечатал:

«Едем назад.»

Почти сразу появились три прыгающие точки.

«Ну?»

Лёша посмотрел в темнеющее окно и написал:

«Ну.»

Серёга прислал сердитый смайлик, потом ещё одно сообщение:

«И что сказала?»

Лёша долго смотрел на экран. Он не знал, как передать обычными буквами то, что случилось там, под стеной дома, в тихой полосе тени. «Благословляю тебя на Первый сон».

«Ночи не бояться, но и не лезть к ней обниматься». «Дом помнить». Такие слова плохо ложились в переписку. В телефоне они казались меньше, чем были на самом деле.

Он набрал:

«Чтобы домой вернулся.»

Серёга прочитал не сразу. Потом ответил:

«Это правильно.»

Ещё пауза.

«А коты правда дали??»

Лёша невольно улыбнулся и заглянул в коробку. Внутри, под сложенным полотенцем, поблёскивал рыжий бок.

«Правда. Рыжего. Назвал Персик.»

Серёга прислал:

«Везёт тебе.»

И через несколько секунд:

«Я бы тоже коты взял. Только мать говорит, что нельзя, от них мол шерсть и нечисть.»

Лёша уже хотел написать, что бабушка сказала про межевиков, но передумал. Это тоже было не для переписки. Он только ответил:

«У нас можно.»

Он вышел из чата и снова открыл карту.

2 часа 07 минут.

Снаружи уже гас день.

Машина шла через редкие деревни, мимо тёмных домов, мимо остановок, возле которых не стояло ни души. В окнах

кое-где зажигался свет — жёлтый, тёплый, настоящий. Лёша смотрел на эти окна и вспоминал бабушкины слова про огни, про дверь, про дорогу домой. Ему хотелось думать только об этом, но мысли упрямо расползались и возвращались к другому.

Он включил музыку — просто какую-то спокойную подборку, что часто играл по дороге. Негромкие голоса, медленные гитары, редкие клавиши. Музыка ложилась поверх гула шин, и от этого дорога делалась ещё более отдельной от всего остального мира: будто они ехали не по шоссе, а внутри длинного сна, где всё движется вперёд без усилия.

Папа и мама тихо переговаривались о чём-то своём. Несколько раз мама спрашивала, не холодно ли Персику. Один раз папа сказал:

— Успеем.

Но сказал он это слишком быстро, словно отвечал не ей, а своим мыслям.

Лёша снова вернулся в ленту.

Чужие фотографии, лица, школьные шутки, картинки, чьи-то кошки, чьи-то пироги, заснеженные дворы, подписи, смайлики. Всё это мелькало под пальцем и оставалось позади так же, как поля за окном. Иногда он останавливался на чём-нибудь, смотрел секунду-другую и листал дальше. Ему не хотелось ничего читать по-настоящему; хотелось только смотреть, как одно сменяется другим, чтобы не думать о том, как быстро темнеет.

Но, конечно, думал он именно об этом.

Иногда между чужими лицами и фотографиями всплывало что-то совсем иное — гладкое, нарядное, чужое.

Одна такая рекламная запись задержала его палец.

На тёмном фоне медленно переливался золотистый свет, как в дорогой спальне, кудаходишь без спроса. Надпись была короткая:

Во сне можно всё.

Ниже — ещё одна, мельче:

То, что случается там, не считается изменой.

Лёша уставился в экран.

Под надписью виднелись силуэты мужчины и женщины, слишком красивые, слишком спокойные, как люди с витрины. Всё в этой записи было приглажено, вычищено, лишено стыда — словно ночь и впрямь была всего лишь ещё одной комнатой, которую можно снять на время, войти, взять что хочешь и уйти, ничего не оставив за собой.

У Лёши неприятно сжалось внутри.

Взрослые говорили о сне шёпотом, вешали на двери чёрные ленты, отводили глаза, если кто-то не возвращался. А здесь та же самая тьма подавалась как забава, как услуга, как что-то красивое и дозволенное.

Он быстро листнул дальше.

Но осадок остался — мутный, холодный, как вода, в которой только что кто-то стоял.

В какой-то момент он сам не заметил, как открыл страни-

цу Даши — той самой, что когда-то жила с ним в одном доме.

Наверное, потому, что всё равно помнил о ней.

Даша училась в параллели. Ходила всегда прямо, с ровной спиной, и говорила мало, словно лишние слова ей были ни к чему. У неё был старший брат, которого Лёша несколько раз видел у школы рядом с ней. А потом его не стало. Точнее, не так. Он не умер — по крайней мере, никто не произносил этого вслух. О нём говорили иначе: не вернулся, не проснулся, ночь забрала. Взрослые всякий раз выбирали другие слова, но ни одно не задерживалось надолго. Не смог связать душу и тело. Такие вещи в их городе не любили называть прямо.

Лёша листнул ниже.

Год назад. Весна. Фотография: Даша и брат сидят на каком-то низком заборе, оба щурятся от солнца. У него растрёпанные волосы, у неё рука лежит у него на плече. Обычная фотография, даже слишком обычная для того, чтобы смотреть на неё спокойно. Под ней не было длинной подписи — только дата и прикреплённая песня.

Lament.

Лёша уставился на слово. Он его не знал.

Он нажал, открыл поиск, быстро вбил латинские буквы и прочитал перевод.

Lament — плач, скорбь, оплакивание.

Он перечитал ещё раз.

Оплакивание.

Слово было старое, тяжёлое, как тёмная вода. Не просто печаль, не просто грусть. Что-то большее, протяжное, такое, что тянется за человеком следом и не отстаёт.

Лёша снова вернулся к посту и включил песню.

Сначала она вошла тихо — несколькими редкими звуками, будто кто-то нащупывал путь в темноте. Потом поднялась скрипка, тонкая и дрожащая, и вслед за ней пошло что-то ещё — не то голос, не то вздох, не то сама тишина запела внутри музыки. Ничего резкого в ней не было, но от этих звуков делалось так, словно кто-то осторожно трогал давно спрятанную боль.

Это была музыка не для слёз на людях, не для громких слов, не для того, чтобы утешить.

Под неё, казалось, плакала сама душа — молча, где-то глубоко, так глубоко, что никто вокруг не должен был этого слышать.

Лёша сидел неподвижно, слушая, как тонкая скрипка поднимается и опускается, и думал о Даше.

В их обществе не любили тех, кто долго и открыто горюет по не вернувшимся. На таких смотрели косо, с жалостью и страхом. Говорили, что нельзя долго звать тех, кого ночь уже не отпустила; нельзя тянуть их память наружу, держать её на свету, как мокрое бельё. О таких не писали длинных слов, не выкладывали чёрных рамок, не кричали в голос. О них говорили тихо, в кухнях, за закрытыми дверями. Или вовсе не говорили.

А Даша взяла и оставила эту фотографию. И песню. Не просьбу. Не жалобу. Просто — след.

Лёша сам не понял, почему это так сильно его задело.

Может быть, потому, что от неё не пахло ни жалостью к себе, ни попыткой что-то доказать. Только тем, что человек всё ещё помнит, даже если ему не велено помнить вслух.

Он дослушал до конца.

Когда музыка стихла, ему показалось, что она не кончилась, а просто ушла глубже — и осталась там, за рёбрами, тонкой тянущейся нотой.

Он открыл карту.

«1 час 32 минуты»

За окном сумерки уже встали почти в полный рост. Поля исчезали, превращаясь в ровную темноту. Лес больше не был лесом — только неровной чернотой на краю дороги. В редких встречных машинах вспыхивали и тут же гасли фары, будто мимо них пролетали одинокие ночные рыбы.

Персик зашевелился в коробке. Лёша опустил руку, нащупал тёплую шерсть. Котёнок тихо пискнул и снова затих.

Музыка всё ещё звучала у него в голове.

Он листнул дальше, будто хотел стряхнуть с себя это ощущение, но вместо этого наткнулся на страницу девочки из своего класса — Кати. У Кати на аватарке всегда были то цветы, то небо, то кусок собственной щеки в мягком свете. Сейчас у неё висела фотография окна, по стеклу которого стекали дождевые капли, а в статусе была прикреплена ка-

кая-то песня.

Слова были французские, мягкие, чужие. Лёша повторил их про себя несколько раз, даже не очень понимая, где в них начинается одно и кончается другое. Песня тоже была печальная, хотя и иначе: не как скрытый плач, а как вечер после дождя, когда всё уже случилось, только никто об этом не говорит.

Он не стал искать перевод. Ему и так сделалось странно.

Почему девочки всё время выбирают такую музыку?

Не весёлую. Не звонкую. Не ту, под которую хочется идти быстрее. А такую, в которой всё время будто кто-то кого-то потерял, ждёт, вспоминает или уже знает заранее, что потеряет.

Лёша слушал пару минут, потом выключил.

Но обе песни уже смешались у него внутри — Дашина, тёмная, со скрипкой, или то не скрипка, а чей-то тонкий голос из пустоты, и эта, чужая, французская, словно спетая не для слов, а для одного только взгляда. Он попытался думать о чём-нибудь другом: о Персике, о конструкторе, о том, где дома поставят коробку, — но тонкая нота всё равно тянулась в голове, как нитка, намотанная на палец.

Серёга снова написал:

«Ну что, ещё долго?»

Лёша открыл карту.

«1 час.»

Он отправил скрин маршрута.

Серёга ответил почти сразу:

«Ого. Я бы уже спал.»

Лёша посмотрел на эти слова и вдруг почувствовал, что веки у него в самом деле потяжелели.

Сначала совсем чуть-чуть.

Он моргнул, потом ещё раз. Потёр глаз костяшкой пальца. За окном темнота сделалась мягкой и ровной; в ней редкие огни домов вспыхивали так далеко друг от друга, что казались отдельными звёздами, упавшими на землю. Гул машины стал тише, ровнее. Печка дышала тёплым воздухом в ноги. Персик сопел рядом. Мама впереди о чём-то говорила, но слова расплывались и не цеплялись за слух.

Лёша выпрямился.

Нет.

Он вспомнил бабушкино: «не дремать в дороге».

Открыл карту снова, просто чтобы занять глаза.

«37 минут»

Синяя линия шла по тёмному экрану, словно тонкая жила. Машина-стрелка медленно ползла по ней.

Он переключился на переписку. Напечатал Серёге:

«Мне нельзя спать.»

Экран на секунду погас, и в чёрном стекле отразилось его лицо.

Бледное, усталое, с тёмными глазами.

Лёша уже хотел снова коснуться экрана, чтобы включить его, но замер.

За его отражением, чуть выше плеча, в тёмном окне машины проступало ещё что-то.

Не лицо даже.

Светлый, смутный овал — как если бы кто-то сидел сзади слишком прямо и смотрел перед собой, не моргая.

У Лёши похолодели руки.

Он резко обернулся.

На заднем сиденье были только коробка с Персиком, его куртка и темнота.

— Что такое? — спросила мама, обернувшись вполоборота.

— Ничего, — быстро сказал он.

Сердце колотилось так сильно, что звук отдавался в ушах.

Он снова посмотрел на телефон. Экран светился обычно. Карта была на месте. Переписка с Серёгой — тоже. Всё было как должно.

Только сонливость не ушла.

Она сидела где-то внутри, тяжёлая, тёплая, настойчивая, и терпеливо ждала, пока он снова моргнёт чуть дольше, чем нужно.

За окном дорога уходила в сумерки, и впереди, за лобовым стеклом, фары вырезали из темноты узкий коридор. Всё остальное ждало по сторонам — молча, терпеливо, не двигаясь.

Потом машина вдруг сбавила ход.

Лёша поднял глаза. Впереди, сколько хватало света, тяну-

лась цепочка красных огней — ровная, неподвижная. Будто сама дорога вдруг остановилась и дальше идти не захотела. Машины ползли медленно, почти на месте, то трогаясь, то снова замирая. Где-то далеко впереди мигало что-то жёлтое, но из-за поворота и грузных спин фур ничего толком было не разглядеть.

— Что там ещё?.. — тихо сказала мама.

Папа не ответил. Только крепче сжал руль и чуть подался вперёд, всматриваясь в темноту между машинами.

Они ехали шагом. Потом встали совсем. Слева чернел кузов чужой фуры, высокий, как стена; справа тянулась мокрая обочина, за которой уже ничего не было видно. Красные стоп-сигналы впереди горели в сумерках тускло и тревожно, один за другим, словно кто-то развесил их над дорогой нарочно.

Лёша снова посмотрел в телефон.

Карта всё ещё показывала:

«29 минут»

Но теперь это было неправдой.

Или почти неправдой.

Он сглотнул и зачем-то обновил маршрут, хотя знал, что от этого ничего не изменится. Экран дрогнул, пересчитал что-то и выдал те же цифры, только путь на нём теперь казался тоньше и беспомощнее прежнего.

Машина снова чуть подалась вперёд. Потом остановилась.

Персик тихо завозился в коробке и опять затих.

Лёша опустил ладонь ему на спину, чувствуя сквозь полотенце маленькое живое тепло. Это помогло — совсем немного.

Но не надолго.

Веки снова слипались.

На этот раз он даже не сразу понял, закрыл глаза или только подумал об этом.

Машина то ползла, то замирала. Красные огни впереди расплывались под ресницами, превращаясь в длинную дрожавшую цепь. Гул мотора, тихое мамино дыхание, редкое постукивание дождевых капель или дорожной грязи по днищу — всё смешалось и стало ровным, убаюкивающим, опасным.

И в эту короткую, страшную полудрёму ему почудилось, что музыка в наушнике больше не играет.

Что скрипка смолкла.

И вместо неё кто-то очень тихо, почти ласково, произнёс его имя.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.